Чехов А.П. 28/I-90

28 января 1990 г. СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ

Сов. Белоруссия. - Минск. - 1990. - 28 янв.

Даты

А МОЛОТОЧЕК ПОСТУКИВАЕТ...

Раздумья в связи с юбилеем — 130-летием со дня рождения Антона Павловича Чехова

Среди множества воспоминаний о школьных годах, которые становятся в преклонные годы вдруг до того отчетливыми, словно все это было с нами чуть ли не вчера, есть у меня такое. Наша «русалка» Зинаида Вячеславовна Дружинина начала с нами «проходить» Чехова рассказом о происшествии на пристани. Будто бы удалой купчина, этакий дюжий охотнорядец во хмелю, ни за что и ни про что дал затрещину одному инородцу из «мордвы» и давай потешаться. Оскорбленный заплакал, робко жаловался, а потом вдруг вскинул ладонь, выкрикнул: «Ты думаешь меня разобидел, нет, ты вон кого ударил...» — и указал на человека в шляпе, в пенсне, явно интеллигентного. То был Антон Павлович Чехов.

Наша учительница говорила об этом, будто сама была очевидцем происшествия на речной пристани. Во всяком случае, перед нами возник живой облик того, чье имя мы встречали на обложках книг и на театральных афишах, кто был для нас автором давно написанной им «Каштанки», читанной нами в раннем детстве вместе с бабушкой, был тем классиком, которого мы начинали проходить в восьмом классе. Но это не было обычным «прохождением», хотя потом мы отвечали на уроках и говорили что-то такое насчет революционно-демократических устремлений этого обличителя сытого равнодушия бар и господ из правящих классов к народным интересам. Говорить-то мы это говорили, но перед нами все маячило лицо человека с мягкой бородкой и в пенсне, искаженное мукой от ненаказуемого скотства нашего отечественного самодовольного негодяя.

И потом, взрослея, когда уже по собственному духовному запросу мы обращались к «Скучной истории» или к «Даме с собачкой», к «Драме на охоте» или к «Степи», к «Острову Сахалину» или к «Палате № 6», нами ощущалась эта мука художника, которая была, может быть, как это ни странно, вдохновляющей для его писательства.

Провинциальный Таганрог питал будущего писателя с юных лет пестрыми впечатлениями. Театральные были желанными.

Когда на афишных тумбах появлялись разноцветные объявления о премьерах, приказчики и стряпчие, учителя и певчие, чиновники и армейские чины предвкушали развлечение как награду за ту серость и скуку провинциальных будней, на которые они были обречены. Юного Антона Чехова волновали звуки настройки оркестра, пробегавшие волнами складки на занавесе перед сценой, с которой слышались приглушенные голоса декораторов и удары молотка. Там готовилось яркое и манящее зрелище, которое потом заставит таганрогского гимназиста с зоркой улыбкой взирать и на мир вокруг. Это постукивание молотка на скрытой занавесом сцене словно предупреждало о чем-то...

Разумеется, смешно читать в «Хамелеоне» о страстях жалкого и заносчивого Очумелова, которого бросает то в жар, то в холод, когда надо решить, что же за собака перед ним, генеральская или же бродячая: «Черт знает что... ни шерсти, ни вида... подлость одна только...» или, наоборот, «шустрая такая», «собачонка ничего себе...», «цуцик этакий...» Какая роскошь глядеть на полицейского исправника с высоты собственной независимости! А ты сам — не Очумелов ли, случайно? Вспомни, как некогда тебе же доводилось распинаться о том, какой вред молодежи наносит поэзия Ахматовой, а нынче делать вид, словно тебя лишь вынуждали повторять чужие характеристики, а сам-то ты еще «тогда» знал, дескать, что «собачонка ничего себе...» Не случалось ли тебе аплодировать ораторам, внушавшим нам всем мысль об успешном укрощении разбушевавшегося атома в Чернобыле и не столь уж великом уроне в экологии, а потом ты же вступал в ряды возмущенных против укрывавших истинное бедствие аппаратчиков под увитые трауром стяги. А разве тебе чуждо было прекраснодушие, сулившее уже нынешнему поколению жизнь при коммунизме, которое теперь оборачивается недоверием даже к перестройке...

Мне скажут: «Тоже, нашел что сравнивать — очумеловскую растерянность перед какой-то собачонкой и нынешние разочарования в историческом оптимизме!» Конечно, я заостряю, как ныне модно выражаться. Но — для ясности.

Ведь и впрямь, согласимся, люди хорошие, — повидали мы разного. До сих пор мучителен для многих из нас разоблаченный культ личности Сталина. Не так просто повертывать мозг в новом направлении мышления. Вроде ты сам-то и сомневаешься в справедливости иного лозунга, возвещенного на собрании, однако «зал встает и устраивает овацию», — тебе, что же, сидеть со смиренно сложенными ладошками? Ты тоже поднялся. «Как люди, так и я...» Вроде бы обычный и не лишенный благоразумия житейский прагматизм. «Не высовывайся!» — и у тебя будет сносная и даже удобная жизнь. А истина? Ну, ее-то ты в одиночку не отстоишь, толпу не перекричишь...

Если вот так изложить подобную нехитрую программу человеческого существования, она смахивает на пародию. А положа руку на сердце, разве не ею объяснялось «всеобщее» требование расстреливать, как взбесившихся собак, маршала Тухачевского и партийного деятеля Бухарина? Или опять-таки единодушное осуждение, например, комедии «Милый человек» К. Крапивы вслед за тем, как, стукнув дверью правительственной ложи, покинули премьеру в театре имени Купалы самые важные зрители... А подозрение в очернительстве нашей армии в «Мертвым не больно» В. Быкова...

Какое-то время спустя мы начинаем догадываться, что вели себя по-рабски, боясь проявить независимость суждения и свободно поступать наперекор общепринятому и внедренному мнению, похожему на приказ. Спохватываемся и начинаем «выдавливать из себя по капле раба», пускаясь в восторги уже перед тем, что было вчера запрещено... Дело не в названиях и не в именах, речь идет о наших метаниях от послушной убежденности в том, что перед нами собачонка «ни шерсти, ни вида», до слепой веры в «этакого цуцика»...

Сталкиваясь с разными жизненными ситуациями, ощущая в себе то благородного рыцаря, то мелкого прохиндея, мы и в самом деле нередко исправляемся, чувствуем прилив стыда, раскаиваемся. Правда, нам иногда льстит, что и самые выдающиеся представители рода людского знавали обыкновенные слабости. С каким удовольствием иной оратор спешит ныне напомнить нам о «заблуждениях» Льва Толстого, о «превращениях» Максима Горького, то оглашавшего «Несвоевременные мысли», то певшего хвалу «вождю всех народов» и ГУЛАГу, о неприятии многих методов большевистских преобразований в стране Янкой Купалой и его же поэтическом славословии в адрес «незакатного солнца» Сталина! Дескать, все мы одним миром мазаны...

А перед тобой вдруг возникнет... Да что там — Очумелов! Ты раскрываешь страницы «Палаты № 6», «Попрыгуньи», «Анны на шее» или «Дома с мезонином»—и что-то далекое, окутанное дымкой времени, уже почти исчезнувшее, предстает перед тобою. Да и то сказать — писалось-то все это вон когда, почти сто лет назад!..

Заштатный городок где-то в глубине обширного государства Российского. Больница. Опустившийся врач. Душевнобольные... Скучноватая картина. Сперва и критика не ощутила всю взрывчатую силу «Палаты № 6», да и сам Антон Павлович говорил о ней с разочарованием. А вскоре читающей публике открылось все значение повести с ее образным символом: жизнь, загнанная в палату.

В ней томится и бывший судебный пристав Громов, который сам был притеснителем, а теперь вот впал в манию преследования. Доктор Андрей Ефимыч Рагин, отчаявшись от безнравственных порядков в больнице, предается чтению книг, в них находит усладу ума, погружается в размышления о вечном, чтобы днем снова отбывать свои скучные служебные обязанности. Во всем городе он нашел одного только умного человека, да и тот сумасшедший... Доктора преследует странное умозаключение: «Страдания ведут человека к совершенству».

Быть может, он думал о прозрении, которое нисходит на нас при муках совести. А совесть врача в такой больнице и при таком исполнении собственного врачебного долга и должна служить ему неизбывным укором. Даже друзья считают доктора Рагина невменяемым.

Давно это было. А ты читаешь «Палату № 6», и вроде это — о нас. Ну если не о нас, то «почти» о наших обыкновениях. Уж так ли чужда нам участь Громова или судьба Рагина...

А вспомним ту тишину в театральном зале, когда на сцене играется в талантливом исполнении чеховская пьеса. Кстати, театры нашей республики не раз одаряли зрителей волнующими и содержательными впечатлениями именно от глубокого погружения в мир чеховских персонажей с их нравственными исканиями, заблуждениями, предрассудками, муками, прозрением и покаянием. Обновленными воспринимались они в спектаклях «Три сестры», «Дядя Ваня», «Чайка», «Вишневый сад», когда роли воплощали талантливые артисты Белоруссии. Сцена и экран поддерживают непрерывность эмоционального воздействия на людей, знающих эти произведения Чехова. Всякий раз мы постигаем какие-то новые глубины, тонкости художественного письма, убеждаемся в перекличке выстраданного писателем с современностью.

Такую перекличку обнаруживаешь в самых разных мотивах. Порою даже очень наглядно. Хоть бы так: в «Палате № 6» герой перед смертью задумался на мгновение о бессмертии и, как сказано у Чехова, «стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него». Не напоминают ли эти олени об одном видении героя повести «Старик и море» Э. Хемингуэя: ему снились львы (и повесть тем кончается). А разве пронзительность фактологии и человечность авторских раздумий в «Острове Сахалине» не предваряют всех нас ныне потрясающий «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына! Около пяти лет отдал Чехов сахалинской книге, отобрав это время от большого романа, написать который он мечтал всю жизнь, и был корим за такое расточительство времени приятелями. «Я рад, что в моем беллетристическом гардеробе будет висеть и сей жесткий арестантский халат»,— отвечал на это Антон Павлович.

Сравнительно недавно еще и в наших представлениях царило предубеждение перед так называемой идейной расплывчатостью в литературе и в искусстве. Мол, а куда зовет нас художник, где программа его преобразования в социальной жизни, чему он учит нас? У Чехова ничего этого нет. Ему даже и не столь уж важно, каково социальное положение его персонажа. Самое важное: он — человек. Чехов знает: у человека есть благородные и сильные задатки, он наделен способностью мыслить и творить, ему свойственны духовные запросы и представления о будущем. И он, увы, несовершенен. Даже физиологически: смертен, подвержен болезням, попадает в рабство собственных инстинктов, вожделений, предрассудков, прихотей. Своими претензиями и нетерпением он нередко ущемляет суверенность, а то и оскорбляет другого, а этот другой — в жажде утвердиться и приспособиться к условиям с выгодой, — в свою очередь наносит ущерб в ответ или еще кому-нибудь... И даже лучшим из нас быть порядочным и достойным всегда и во всем трудно, мудрено, сложно.

Как бы ни были прекрасны замыслы людей и программы, реформы и законы, благо сотворяется сообществом свободных личностей. Из каких персон и лиц, потомков Адама, оно складывается, таким оно и образуется. Чехов почти не умеет скрыть свою досаду, что разным недугам подвержены даже лучшие среди его героев, вроде доктора Астрова и Войницкого в «Дяде Ване», вроде сестер Прозровых, вроде доктора Дымова в «Попрыгунье»... Ему ближе всего поистине воспитанный (Чехов любил такое определение) человек, способный страстно влюбляться и самозабвенно работать, пускаться в странствия и всматриваться в звезды, от души веселиться и нянчить детей, хохотать без причины и даже говорить глупости, не теряя человеческого при этом в себе. Всего лишь! А утратил — и вот тебе! — скука, прозябание, меркантильные интересы, чревоугодие, погоня за чинами и наградами, пошлый флирт, доносительство, лизоблюдство.

Не прошло и десяти лет, как мы собирались в клубах и дворцах культуры, чтобы «творчески обсудить» и выказать непременное восхищение знаменательным литературным трудом — трилогией «Малая земля», «Возрождение», «Целина». Кто-то из нас бесстыдно лгал, что не мог-де без волнения читать эти творения; некоторые преодолевали неловкость и заставляли себя поддерживать «предыдущих ораторов», а кое-кто был доволен, что его не приглашают на трибуну и он может отделаться аплодисментами по адресу якобы сочинителя трилогии. И расходились как ни в чем не бывало. Дело вроде сделано, и ты держался... как все. Но вот твой взгляд падал на корешок книги с этим именем — ЧЕХОВ. И все в тебе перевертывалось, ты становился отвратителен самому себе, хотелось перед кем-нибудь покаяться. В тебе пробуждалась совесть. Спасительная. Живительная. Возможно, единственный гарант выживания у людей вообще.

Нынче у нас гремящее и орущее время. Умопомрачительные скорости. Ошеломляющие новости. Суета в быту. Озлобление и ожесточение становятся едва ли не основным состоянием людей. До тех пор пока мы не ощущаем в себе— каждый по отдельности — такое пробуждение совести. В чеховском понимании и по чеховскому примеру. Возможно, именно пробуждение это и будет самым судьбоносным в истории человечества.

Некогда Антон Павлович ратовал, чтобы за дверьми самодовольных и преуспевающих людей стоял бы некто с молоточком в руках и постукивал, напоминал им о том, как много еще в мире несчастья и жестокости, горя и преступлений, лжи и корысти, зловластия и насилия. Напоминал — взывая к состраданию. В мире произошли невиданные прежде перемены. Такой молоточек почти невозможно расслышать в нем, гремучем и ревущем, сотрясаемом взрывами и стрельбою. Но молоточек стучит и стучит в наши двери. И пока он постукивает, не гаснут наши надежды на возобладание человеческого в человеке и, следовательно, на спасение человечества.

Так думается нам, когда мы отрываем листок календаря, на котором обозначен день рождения Антона Павловича Чехова. Думается — благодарно.

Борис БУРЬЯН.